

18+

ТИХАЯ ГАВАНЬ

Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО

История о том, как перестать быть удобной
и начать быть собой

Наталья Гурина

Тихая гавань

«Издательские решения»

Гурина Н.

Тихая гавань / Н. Гурина — «Издательские решения»,

«Тихая гавань» — это роман-путешествие, роман-инициация. История о том, как перестать быть удобной, заслуживать право на существование и бояться, что тебя выгонят. О том, что дом — это не стены. Дом — это когда ты наконец перестал убегать от себя. Для тех, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Для тех, кто ищет свой дом. Для тех, кто готов высечь искру.

© Гурина Н.

© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ. СЛОВО, КОТОРОЕ ЖЖЁТ	6
ГЛАВА 1. КОСТОЧКА В ЖЕЛУДКЕ	9
ГЛАВА 2. ТРЕЩИНА И ШРАМ	14
ГЛАВА 3. НОРА, В КОТОРОЙ НЕ МЕТУТ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Тихая гавань

Наталья Гурина

Анна Руденко

© Наталья Гурина, 2026

© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0070-8215-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ. СЛОВО, КОТОРОЕ ЖЖЁТ

Сказки не умирают от старости. Они умирают от того, что в них перестаёт кто-то заглядывать.

Когда-то, когда мир был ещё мокрым от утренней росы и пах прелой хвоей, люди и духи говорили на одном языке. Это был не язык заклинаний или договоров. Это был язык привычки. Плотник Игнат, пахнувший стружкой и дёгтем, вбил первый железный гвоздь в косяк, вытер пот со лба и сказал не в пустоту, а прямо в древесину: — Живи, хозяйюшка. Я тебе стена, ты мне тепло.

В этот самый миг из печной сажки, из мышинного писка в подполье и из запаха ржаного хлеба, который ещё только поднимался в тесте, собралась Домна. Крошечная, полупрозрачная, размером с кулак — но Слово Игната стало скелетом. Пока он жил, пока оставлял на пороге блюдечко с молоком — не для того, чтобы угостить, а чтобы сказать: «Я вижу тебя. Ты есть», — Домна была Хранительницей. Дом дышал. Молоко не скисало, а печка гудела утробно, как сытая кошка.

Домна знала каждую половицу в этой избе. Знала, что третья от порога скрипит, если наступить на левый край, и молчит, если на правый. Знала, что печь держит тепло до самого утра, если закрыть выюшку сразу после того, как угли перестанут петь. Знала, что Хозяйка пьёт чай с мятой по средам, а Игнат — с берёзовым листом по субботам. И чайник всегда закипал ровно к тому моменту, когда они садились за стол — не раньше, не позже. Знала, что по утрам свет падает из восточного окна на печь — сначала узкой полоской, потом шире, — и к тому моменту, когда Игнат садился завтракать, весь стол был залит солнцем. Медный чайник в это время горел, как маленькое солнце, и в его боку можно было увидеть собственное отражение — кривое, растянутое, но своё. Это была её работа, её невидимая забота, которая делала дом Домом.

А потом у Игната родился внук. Мальчик был маленьким, коленки вечно в ссадинах, а карманы набиты камешками, обрывками верёвки и стекляшками. Он знал. Он видел, как Домна подправляет криво стоящую кружку, как она шипит на сквозняк из-под двери. Он оставлял ей корку хлеба и шептал в красный угол: «Спасибо, Домна». И она была. Она была реальной, как его собственные ботинки, только тёплой.

Но дети вырастают. Это неизбежный и весьма практичный процесс. В карманах перестают помещаться камешки, зато появляются ключи, бумаги и заботы, которые весят больше, чем мешок с картошкой. Взросление — это, по сути, искусство забывать. Забывать, чтобы освободить место для расписаний, цен и планов на будущее. Внук вырос, уехал в город, где дома не гудели, а стояли в строю, как солдаты на параде. И когда он вернулся, он привёз с собой не топор и не хлеб. Он привёз бумагу с печатью и взгляд человека, который измеряет мир шагами и сроками.

Он не был злым. Злость требует слишком много энергии. Он был просто... взрослым. А для взрослого мира Домна стала «сказкой из детства». Той самой, в которую веришь в пять лет и смеёшься над собой в двадцать пять. — Всё, — сказал он, обведя взглядом матицы. Голос его был ровным, как обструганная доска. — Закрываем. Завтра приедут ломать.

Это Слово стало последним. Оно не было криком. Оно было щелчком невидимой защёлки. Пуповина, связывающая Домну с этим местом, перерезалась. И тогда дом начал умирать. Сосна в стене вспомнила, что она сухая древесина. Глина вспомнила, что она прах. Воздух в избе стал тонким, колючим, пахнувшим озоном и чужой спешкой. Сказка испарилась, ушла сквозь щели в лес, оставив после себя только ватную, звенящую пустоту.

«Вот так, значит, — подумала Домна. — Семьдесят лет — и всё. Даже не попрощались».

Домна сидела в подпечье, сжавшись в комок. Глиняная кожа пошла мелкой сетью трещин. Фантомная боль разрывала её: мозг посылал сигналы — «подмети пол», «затопи печь», «проверь тягу», — но Дома больше не было. Была груда мёртвых брёвен, ждущих, когда их сгребут в кучу.

Что-то расползалось внутри. Не физически — пока ещё нет, — а как-то иначе, глубже. Словно в том месте, где раньше бился печной жар, теперь была только пустота. И пустота эта росла.

«Я умираю», — подумала она.

Это была простая, ясная мысль. Дом без Слова — просто дерево. Домовой без Дома — просто глина. Стоит сейчас закрыть глаза — и она рассыплется. Станет трухой. Пылью. Ничем.

«В Кодексе, — мелькнула мысль, — наверное, есть глава и об этом. „О достойном уходе Хранительницы вслед за Домом“. Там, должно быть, сказано: истинная Хранительница должна остаться в очаге до конца. Должна принять огонь. Должна стать пеплом вместе со стенами, которые не смогла уберечь».

Почти поверила в это. Почти убедила себя, что так будет правильно. Достойно. По Кодексу.

«Только вот Кодекс я сама выдумала, — вдруг подумала она. — От первого до последнего параграфа. А раз я его выдумала — я могу его и переписать».

Почти закрыла глаза. Почти согласилась.

Но в этот момент из печи полыхнуло жаром.

А потом пришёл огонь.

Не от искры. Не от молнии. Он родился из самого Слова — того последнего, равнодушного: «Закрываем». Слово это было не просто звуком. Оно перерезало пуповину, которая связывала Дом и Хранительницу. А когда пуповина рвётся — то, что осталось, должно уйти. Огонь — это просто бухгалтер Вселенной, который приходит, чтобы закрыть неоплаченные счета и привести документы в порядок.

Когда пришёл огонь, он ел сруб методично. Домна не тушила. Глина ещё не успела стать крепкой. Но когда пламя добралось до печи — сердца дома, — она сделала то, за что Старейшины Рода проклинают своих детей. То, что нарушало саму ткань Яви. Сунула руку в самое жерло, туда, где под слоем белого пепла лежал он. Чёрный Пепел.

«Горячо. Очень горячо. Но это первое горячее за сегодня — и оно, по крайней мере, настоящее».

Это была не просто сажа. Это был слёкшийся в уголь труд Игната, его вера, его Слово, вложенное в стену. Тяжёлый, маслянистый, пульсирующий, как остывающее сердце. Выносить Пепел из родной печи за порог — значит самому себе могилу копать. Пустить в кровь сквозняк, который выстудит нутро за одну ночь. Это была государственная измена. Это был бунт против самого Рода. Пепел должен оставаться в земле или в печи. Но какой, к лешему, порог? Избы больше нет.

Угольки впивались в ладони, обжигая до мяса, но рука не отдёрнулась. Из царапины выступила кровь — густая, янтарная смола, пахнущая лесом и летом.

Чёрный Пепел должен был выжечь её изнутри. Таков был Закон. Домна знала это — знала и всё равно сунула руку в жерло.

Но Пепел не выжег, обжёг — до мяса, до смолы, — но не убил. Потому что она брала его не как мусор. Не как сор, который нужно вымести. Брала как последнее, что осталось от дома. Как память. Как любовь.

И Пепел принял это. Но оставил метку — навсегда. Отныне он будет жечь ладони, и этот ожог не заживёт, и будет напоминать: ты нарушила Закон. Ты заплатила цену. Ты жива — но не бесплатно.

Заметалась по тому, что осталось от избы. Пепел жёг ладони — долго не удержишь, рассыплется, утечёт сквозь пальцы. Нужен был сосуд. Метнулась к провалу в полу — там, под половицами, было подполье, где Хозяйка хранила соленья и семена. Спрыгнула вниз. В углу, под слоем трухи, нащупала старый Игнатов горшок — тот самый, из плотной, тёмной глины, в котором он когда-то хранил семена для весеннего посева. Горшок был с крышкой.

Сгребла Чёрный Пепел в него. Клеем, смешанным из пепла и крови, замазала щель между крышкой и горловиной. Запечатала свой Дом. Закрыла его наглухо, чтобы он не выдохся, чтобы Навь не забрала его себе.

«Вот и всё. Теперь ты — горшок. А я — та, кто тебя несёт. Поменялись, значит».

Горшок был тяжёлым. Неподъёмным. Тянул руки вниз, вывихивая плечи, но именно эта тяжесть не давала рассыпаться в пепел.

В этот миг из дыма и пепелища родилась Ищейка. Она не пришла из Нави. Она родилась из самого Закона Рода, из трещины, которую Домна оставила в мироздании, нарушив Запрет. Ищейка была мелкой, липкой, бытовой. У неё не было тела — только запах. Запах прогоркшего молока, пыли из-под кровати, мышинового помёта и остывающей золы. Звук капающей воды — кап, кап, кап — ритмом, сводящим с ума. Лепилась к спине — холодная, как зимняя земля. Ищейка была гончей. Старейшины натравили её, чтобы отобрать Пепел и уничтожить Слово.

— Ты пустая, — шепнула Ищейка голосом соседки, приходившей занимать соль. — Ты преступница. Ты сгнила изнутри. Тебя нужно вымести. Ложись в сугроб. Пепел к пеплу. Тряпка к тряпке. Весной растает. Никто не вспомнит.

Слова проникали под кожу, в трещины глины, разъедали изнутри, как кислота. Тело становилось свинцовым. Руки повисали плетью. Веки слипались. Так легко было просто сесть. Так легко было стать ничем. Ничем быть теплее. Ничем не нужно хранить.

Домна шаталась. Снег под ногами предательски скользил. Существо за спиной шуршало сухими лапами. Страх приходил не холодом — тяжестью. Рука сама нырнула в карман передника, нащупала осколок кремня — тот самый, что всегда лежал там на всякий случай, — и со всей силы ударила по глиняной щеке. Боль была резкой, ослепительной, человеческой. Из трещины выступила янтарная смола. Капля упала на снег, зашипела, растаяла.

— Я живая, — сказала Домна в пустоту. Голос дрожал, но она подняла глаза. — Я уберегу его. Я понесу его. А ты, Ищейка, иди за мной, только под ногами не путайся. Я сегодня злая. Могу и пеплом кинуть. У меня его тут достаточно.

Ищейка взвизгнула — тихо, по-собачьи, обиженно. Она питалась пустотой и ненавидела жар. Она боялась крови — доказательства жизни, Слова, написанного на плоти. Домна вытерла руку о юбку. Смола оставила бурый след. Её печать. Новая подпись на контракте с жизнью. Упёрлась ладонями в снег, встала. Колени дрожали, спина гудела, словно она тащила бревно. В руках — запечатанный глиняный горшок. Он бился о бёдра, тяжёлый, как остывший чугун.

Ищейка шла за ней, шуршала сухими лапами. — Останься, — шептала она голосом Старейшины. — Здесь твоя могила.

Домна остановилась, посмотрела на следы на снегу. Своих следов не было — только глубокая борозда, которую тянула за собой её тяжесть. — Моё место там, где мой огонь, — ответила она тишине, усмехнувшись уголком рта. — Огонь сгорел. Значит, я несу его пепел. Пепел легче дерева, но тяжелее памяти. А ты, Ищейка, вообще невесомая. Тебя только ветер носит. Пойдём, что ли. Стоять тут — только снег топтать.

Шагнула вперёд. Лес расступился, принимая её в свои чёрные объятия. Ветви елей царапали лицо, холодный ветер сушил слёзы, что так и не пролились. Горшок бился о бок. Чёрный Пепел внутри становился горячим, живым. Он пульсировал в такт сердцу, шепча то самое Запретное Слово, от которого сгорел мир.

Домна поняла: она больше не Дом. Она становилась путником. А путник всегда несёт свою избу на спине.

ГЛАВА 1. КОСТОЧКА В ЖЕЛУДКЕ

Домна шла всю ночь. Или ей казалось, что всю ночь — в лесу время текло иначе, и спорить с ним она давно перестала. Снег скрипел под ногами. Горшок бил по бедру. Ищейка шуршала сзади — пока тихая, пока только присматривалась. А впереди темнел лес — огромный, чужой, никуда не зовущий.

В своде устных наставлений, который Домна про себя называла «Кодексом Хранительницы Очага» (и который она, по правде говоря, выдумала от первого до последнего параграфа, потому что с настоящим Кодексом её никто не знакомил — может, его и вовсе не существовало, но жить с Кодексом было уютнее, чем без оно́го), — так вот, в этом Кодексе лесу посвящалась целая глава. Она называлась, если Домна ничего не путала, «О зелёных чертогах и безмолвном гостеприимстве». Там говорилось, что истинная Хранительница, входя под сень крон, должна ощутить благоговение и трепет, ибо лес есть колыбель всего сущего, изумрудный храм, где каждое дерево — колонна, а каждая птица — голос небесного хора.

Никакого благоговения. Просто промокли ноги. Снег под лаптями не хрустел — он чавкал с тем же усталым, безразличным звуком, с каким старая хозяйка выливает помой за порог, даже не глядя, попала ли струя на крапиву или разлилась по дорожке. Этот звук — «хлюп-хлюп-хлюп» — был до того будничным, что мысли о высоком просто отказывались лезть в голову. Они оседали где-то в районе продрогших лодыжек и там тихо умирали.

«В легендах, — думала Домна, вытаскивая ногу из сугроба и обнаруживая, что сугроб не желает отпускать её без боя, — в легендах странники всегда шествуют по сухой листве или, на худой конец, по искристому снегу, который звенит под сапогами, как серебряные колокольчики. Никто не пишет баллад о тех, кто месит ледяную кашу в лаптях, из которых торчит солома. Солома, между прочим, намокла. И теперь натирает. Интересно, — подумала она, — в легендах герои вообще ходят в туалет? Или это опускают за ненадобностью?»

Лес не был злым. Злость — штука дорогая, она требует топлива, а лес был существом экономным, прижимистым, как старый скряга, который считает каждое полено и точно знает, сколько тепла из него выйдет, а сколько уйдёт в трубу. Лес был просто... желудком. Огромным, медленно переваривающим желудком, который смотрел на Домну не как на гостью и не как на хозяйку, а как на вишнёвую косточку, выплюнутую из чужого рта. Косточку, которую, может быть, переварят. А может, и нет. Зависит от настроения, наличия желудочного сока и того, насколько косточка будет сопротивляться.

Сосны, облепленные мокрым снегом, высились с тем вековым спокойствием вещей, которые точно знают: всё, что не умеет быстро бегать, не умеет грызть кору или пускать корни, рано или поздно станет удобрением. Это не жестокость. Вселенная вела учёт, и у неё, надо заметить, всегда есть свободная минута. У Домны свободных минут не было — они кончались вместе с теплом, которое медленно, но верно вытекало из трещин.

На коре старой сосны кто-то вырезал инициал — кривую букву «И», которая заплыла смолой и стала почти невидимой. Домна провела по ней пальцем. Может, Игнат? А может, просто другой Иван, который шёл здесь сто лет назад и думал о чём-то своём.

Подняла руку, чтобы отвести свисающую еловую лапу, и остановилась. Рука была... не совсем рукой. Сквозь глиняную кожу, сквозь янтарные жилы смолы, сквозь мелкую сетку морщин, которые появились неизвестно когда (может, ещё вчера, а может, сто лет назад — в печном дыму время течёт иначе), отчётливо проступала шершавая кора ближайшей берёзы. Чёрные штрихи на белом. Домна видела насквозь саму себя. Там, где должно было быть нутро — плотное, тёплое, пахнущее ржаным хлебом и печным дымом, — пульсировал серый, ватный туман. Как в чулане, который забыли проветрить с прошлой весны. Как в голове после бессонной ночи.

— Ну вот, — произнесла Домна вслух, и голос прозвучал глухо, как из-под половицы. Разговаривать с собой было, вообще-то, дурной привычкой, но за последние сутки она потеряла все хорошие привычки, а дурные, наоборот, прилипли, как репей к подолу. — Опять сквозняк. И ведь не где-нибудь, а в районе левого локтя. Раньше там была кость. Хорошая, крепкая кость из обожжённой глины — Игнат ещё говорил, что такая кость переживёт и избу, и печку, и самого Игната. А теперь там растёт мох. Или лишайник. Или что-то ещё менее приличное, что обычно заводится на северной стороне крыши, если хозяин поленился перестелить драпку.

Поднесла руку ближе к лицу, сощурилась, скосив глаза к переносице так, что в висках заломило. Мох действительно был. Мелкий, серо-зелёный, бархатистый на вид, но жёсткий на ощупь — как щётка, которой драят котлы. Домна потрогала его пальцем, и мох обиженно втянулся в трещину, словно кот, которому наступили на хвост.

«Это всё от сырости, — авторитетно сказала она себе тоном, который позаимствовала у Марфы-соседки, когда та приходила занимать соль и попутно ставила диагнозы всему домашнему хозяйству. — В Кодексе, в главе о гигиене нежити, наверняка сказано: избегайте длительного контакта с тальми водами, просушивайте глину не реже двух раз в сезон и ни в коем случае не спите на снегу, если у вас нет хотя бы войлочной подстилки. Ну, или что-то в этом роде. Жаль, что я не могу прочесть этот Кодекс. Он, должно быть, очень полезный. И толстый. С картинками».

Ноги, решила Домна, не пойдут. Ноги были совершенно правы в своём нежелании. Они устали тащить глину, которая забыла, что она глина, и возомнила себя то ли берёзой, то ли туманом, то ли и вовсе покойницей, которой давно пора лежать, а не шататься по лесу, пугая ворон. Но глупая привычка, вбитая в эту самую глину годами стояния у печи — привычка, которая была сильнее усталости, сильнее боли и сильнее здравого смысла, — уже приказала им шагать. И ноги, проклиная привычку, пошли. Правая чуть волочилась, левая подволакивалась, и со стороны это выглядело как танец пьяного голема, который пытается изобразить лебедушку, но забыл, с какой стороны у лебедушки крылья.

Домовые не умирают, как люди. Они рассеиваются — забывают, как мести от углов к центру, становятся скрипом половицы, пылинкой, которую чихнул кот. Обидно стать пылинкой, которую чихнул кот. Обидно, что кот даже не заметит.

«Вот это, — думала Домна, переставляя непослушные ноги и чувствуя, как в левом бедре что-то предательски похрустывает, — самое обидное. Чих — и нету. Даже помянуть некому. Даже блинов не напекут».

За спиной что-то шуршало. Даже не шуршало — волочилось. Кто-то тащил по сухим листьям (откуда здесь сухие листья? под снегом-то? а, это она сама шуршит, это её собственная глина осыпается) мешок, набитый битым стеклом и чужими обидами. Ищейка. За те часы, что Домна шла по лесу, тварь уплотнилась — теперь у неё было подобие тела. Лапы, сотканые из дыма и золы, оставляли на снегу едва заметные следы. Когти были ещё мягкими, но уже цеплялись за корни.

Ищейка была старой в том смысле, в каком старыми бывают страхи — они рождаются сразу зрелыми. Она просто присутствовала. И пахла.

Запах был сложный, многослойный, как старый бабушкин сундук. Прогорклое молоко, пыль из-под кровати, мышинный помёт. А сверху — тот специфический, тошнотворный аромат комнаты, где никого нет уже год, но на столе всё ещё стоит недопитая чашка, и в чашке плавает муха.

— Да брось ты её, — прошептала Ищейка голосом соседки Марфы. Той самой Марфы, что приходила занимать соль и всегда находила повод криво посмотреть на твои половицы. У Марфы был особый дар: она умела спрашивать «не заболела ли?» с такой интонацией, что ты немедленно заболела. — Изба старая, всё одно развалится. Чего жалеть-то? Пустое место.

Я бы на твоём месте уже давно под метёлку легла, места бы не занимала. А ты — пыль. Ты — труха.

Домна стиснула зубы. Стискивать зубы было трудно — челюсть стала какой-то рыхлой, податливой, как размокший сухарь, который забыли в чае.

— Ложись, — зашептала Ищейка уже голосом Хозяйки. Той самой Хозяйки, что в последний раз завязывала платок узлом и не посмотрела на красный угол. Голос был тусклым, усталым, безразличным, как осенний дождь, который идёт четвёртый день подряд. — Ты пустая. Забыли тебя дёгтем смазать. Сгнила изнутри. Весной растаешь, и даже помянуть некому будет, срамница.

«Срамница». Это слово она и сама себе часто говорила — когда подгорала каша, когда забывала закрыть вьюшку, когда спотыкалась о порог. «Срамница» было правильным, хозяйским, тёплым словом. Но в голосе Ищейки оно звучало иначе — как приговор.

Ищейка не рвала плоть. Она рвала волю — тонкими, острыми коготками, которыми поддевала ниточку за ниточкой. Она питалась сомнением, этой липкой, сладковатой субстанцией, которая выделяется, когда вера даёт трещину.

«Тряпка к тряпке», — шептала она. И от этого «тряпка к тряпке» веки наливались свинцом, а колени подгибались сами собой.

Но горшок на поясе был тяжёлым. Очень тяжёлым. Он прижимался к левому бедру горячим боком, и Пепел внутри пульсировал — живой, тёплый, упрямый. С каждым шагом он бился о бедро, и это была Хорошая Боль. Та самая боль, когда наступаешь босой ногой на гвоздь и понимаешь: нога цела, ты жив. Боль, которая говорит: ты ещё здесь, ты ещё что-то вешишь.

Раньше скелетом были стены — четыре крепких, проконопаченных мхом стены, которые держали тепло. Матицы, которые принимали на себя тяжесть крыши. Печь — огромная, тёплая, гудящая, как сытая кошка. Теперь скелетом стал Пепел. Без него Домна рассыпалась бы в снег, как старая штукатурка с потолка заброшенного дома.

«Внук Игнатов, — думала Домна, переставляя непослушные ноги и слушая, как хлопает в лаптях снеговая каша, — вон свои сундуки в город повёз. Железо, добро, зерно, холсты. А я пепел ношу. Зато надёжно. Не украдут. Кто ж позарится на печную труху? Ворона, может быть. Да и та плюнется, если не приправлено салом».

Усмехнулась уголком рта. Усмешка вышла кривой, сухой, однобокой — глиняная кожа на правой щеке не выдержала движения, треснула и осыпалась мелкой серой пылью прямо в ворот рубахи. Пыль попала за шиворот, и Домна дёрнулась, зашипела, заплесала на месте, пытаясь вытрясти труху, но только размазала её по груди и животу.

— Ах ты ж!.. — хлопала себя по бокам, по плечам, поднимая облачка серой пыли. — Ну конечно. Мало того что трескаюсь, так ещё и крошусь. Я не Хранительница Очага, я какая-то ходячая мельница. Вся в муке. Сейчас ещё ветер поднимется — развеет меня по всему лесу, и будут потом грибники находить в боровиках кусочки глины. «Ой, глянь, Петровна, у меня гриб с пальцем!» Тьфу.

Ворчать было полезно. Ворчание создавало ритм, а ритм помогал идти. Левая нога — «срам-ни-ца». Правая — «тряп-ка к тряп-ке». Левая — «ни-че-го». Правая — «пе-ре-зи-му-ем».

А потом Пепел стал горячим. Не тёплым — горячим. Как будто вспомнил, что он — не просто зола, а слёкшийся труд Игната, его вера, его Слово. Как будто почуял: дом остался далеко позади, а впереди — только лес, только холод, только неизвестность. И запаниковал. Пепел не хотел в неизвестность. Пепел хотел обратно — в печь, в землю, в покой.

Горшок начал нагреваться. Не метафорически, а самым буквальным, бытовым образом — как нагревается забытый на плите утюг, от которого уже пошёл коричневый след на рубахе. Сначала запахло палёным. Потом пошёл дымок — жиденький, сизый, вонючий.

Пепел не просто грел — он разъедал глину. Кислота вины, той самой вины, что грызла Домну изнутри с того самого момента, как она вынесла Пепел за порог, проела стенку горшка — того самого, Игнатова, из плотной тёмной глины. Стенка истончилась, пошла трещинами.

Домна остановилась, схватилась за горшок, но отдёргнуть руку не успела. Глина раскрошилась с тихим, извиняющимся шорохом — «прости, мол, хозяйка, не уберегла». Чёрные, маслянистые крупинки посыпались на белый снег, шипя и плавя его, как раскалённая соль на голом льду. Каждая крупинка прожигала в снегу маленькую, идеально круглую дырку, и оттуда поднимался пар — тонкий, дрожащий, как дыхание загнанной лошади.

— Нет! — Это был даже не крик. Это был скулёрж — тихий, жалкий, собачий, — который вырвался откуда-то из глубин, где ещё жило сердце. — Нет, нет, нет, нет...

Упала на колени, не чувствуя, как снег обжигает ноги. Попыталась собрать Пепел обратно ладонями, но ладони прошли сквозь него, как сквозь туман. Пепел был горячим и чужим. Он не хотел собираться. Он хотел лежать на снегу и шипеть. Он хотел умереть.

Ищейка за спиной взвизгнула — не от боли, от предвкушения. Её невидимые лапы, до того лишь обвивавшие Домну за талию, теперь начали входить внутрь. Через трещины. Через щели в глине. Через ту самую дырку в локте, где теперь рос мох. Ищейка просачивалась в Домну, как вода в разбитый кувшин, занимая пустоту, которая образовалась на месте печи.

Ноги подкосились. Домна рухнула на спину — снег взметнулся облаком и тут же осел, запылив лицо.

Холод шёл не снаружи. Снаружи было почти тепло — морозный воздух, снег, ветер. Холод шёл изнутри. Как если бы кто-то открыл вьюшку и выпустил весь жар в ночь. Стыла смола в суставах — медленно, градус за градусом. Глина на бёдрах становилась хрупкой, ломкой, готовой раскрошиться от одного неверного движения. Сердце — то самое сердце, что когда-то было печью, — сбавляло ритм.

— Вот и всё, — прошептала Ищейка, и в её голосе впервые не было яда. Только жалость. Самая страшная, самая убийственная разновидность жалости. — Ты не боролась. Ты просто устала. Это нормально, Домнушка. Все устают. Даже великие Хранительницы. Ложись. Я подоткну тебя своим шорохом. Тебе будет тепло. Тебе будет тихо.

«Тепло, — подумала Домна, и мысль была вялой, как осенняя муха, которая бьётся в стекло. — Какой глупый звук. Теп-ло. Два слога. Когда говоришь их медленно, можно представить печку. Можно представить, как гудит огонь в поддувале. Как пахнет ржаной хлеб. Как Игнат сидит на завалинке...»

И как только она это подумала — не специально, не в порядке самозащиты, а просто потому что умирающий мозг хватается за самые яркие картинки, — ноздри щекнул запах. Резкий, терпкий, живой. Раскалённая смола и свежая стружка. Так пахнет мастерская, где работают с деревом. Так пахнет жизнь, которая ещё не стала пеплом.

Лето. Полдень. Игнат строгаёт косяк для новой двери. Сидит на завалинке, рубаша расстёгнута до пупа, из-под рубашки видна грудь — красная, загорелая, в веснушках. Стружка падает на песок, сворачивается золотыми кольцами. Пахнет лесом, который только что был деревом, и солнцем, которое это дерево вырастило.

Домна — тогда ещё маленькая, с мышинный хвост — сидит в тени под корнем старой липы и смотрит. Она ещё не знает, что она — Хранительница. Просто сидит и смотрит, как работает Игнат. Ей хорошо. Ей тепло. Игнат берёт стружку — самую длинную, самую тонкую, которая завилась в спираль, — подносит к носу, нюхает, как нюхают дорогой табак, и говорит сам себе, не ей, а просто в воздух:

— Живая. Значит, будет стоять.

Он не видит её. Но говорит это так, что Домна чувствует: его слово делает её плотнее. От его голоса глиняная кожа становится твёрже. Как будто по ней провели горячей гладилкой — раз, и всё, никаких складок.

Запах исчез так же внезапно, как появился. Остался только гнилой торф под снегом и собственная труха, которая сыпалась из локтя. Но что-то изменилось. Какой-то осадок остался. Как если бы глотнула горячего чая с малиной и мёдом — уже не пьёшь, а тепло внутри сидит, греет изнутри.

— Его нет, — прошептала Ищейка. — Никого нет. Игнат умер. Внук уехал. Дом сгорел. Ты сама себя придумала. Это просто память. Это просто дым. Ложись. Пепел к пеплу. Тряпка к тряпке.

«Тряпка к тряпке, — повторила про себя Домна. Раньше от этих слов хотелось лечь и умереть. А сейчас — только смутное раздражение. — А ведь и правда. Сейчас я — тряпка. Мокрая, грязная, дырявая тряпка, которой только полы мыть в свинарнике. Но даже тряпку кто-то должен выжать. Даже у тряпки есть предназначение. И это предназначение — не лежать в снегу. Это предназначение — висеть на крючке, сохнуть и ждать, когда тобой снова вымоют пол».

Лежала на спине. Смотрела в небо. Небо было свинцовым, тяжёлым, низким — как провисший потолок в брошенном доме. Снежинки падали на лицо и не таяли — глина была слишком холодной. Пальцы разжимались сами собой. Глина на щеках осыпалась в снег мелкой, серой пылью. Почти согласилась. Почти уже стала ветром.

Но правая рука, лежавшая в снегу, нащупала что-то твёрдое.

ГЛАВА 2. ТРЕЩИНА И ШРАМ

Но правая рука, лежавшая в снегу, нащупала что-то твёрдое. Горшок. Тот самый, Игнатов, что она нашла в подполье. Он треснул, когда Пепел разъял стенку изнутри и глина раскрошилась прямо на пояс. Трещина шла от горловины до самого дна — тонкая, но сквозь неё сочился жар. Горшок был ещё тёплым. Живым. Он отказывался рассыпаться. Кривой, с щербатым краем, с шершавыми стенками, о которые можно было ободрать ладонь до крови. Но целый. Он держал форму, хотя его уронили на морозе, из последних сил.

Домна прижала горшок к груди, и глина отозвалась — глухо, надёжно, по-настоящему.

«Странно, — подумала она, и мысль была уже не вялой, а острой, как заноза. — Горшок треснул. Я рассыпаюсь. Но ведь если вещь треснула, её можно починить. Игнат говаривал: битую печку только добрый хозяин и починит. Это он, конечно, про печку говорил. Не про домовых. Но домовой — это та же печка, только с ногами. И если хозяина нет, это не значит, что печку надо выбрасывать. Это значит, что печке придётся чинить себя самой. Как-нибудь. На живую нитку. На смоле. На честном слове. Жаль, что Игнат не уточнил, где брать доброго хозяина в лесу. Может, тут есть лавка? „Добрые хозяева. Оптом и в розницу“».

Это была очень глупая, очень упрямая, очень нелогичная мысль. Именно такие мысли и нравятся жизни. Жизнь вообще предпочитает глупых и упрямых. Умные и гибкие слишком быстро соглашаются лечь в снег.

Рывком, от которого хрустнуло в пояснице (и где-то глубоко внутри осыпалась ещё одна щепотка глины), Домна выдернула руки из сугроба. Ищейка зашипела — так шипит кошка, у которой из-под носа утащили миску со сметаной. Игнатов голос оборвался в голове, сменившись возмущённым воем Нави, но Домна уже не слушала. Ползла к поваленной берёзе, торчавшей из снега, как обглоданный рыбий хребет.

Пальцы, ещё недавно готовые рассыпаться, впились в мёрзлую землю под корнями. Скребла ногтями, ломая их, стуча костяшками о камни, выдирая куски синей, жирной, пахнущей железом глины. Глина набивалась под ногти, застревала в трещинах на пальцах, смешивалась с янтарной смолой её собственной крови, и от этого становилась только крепче. Запахло сырой землёй, весной, пахотой, червями — самым живым запахом, который только бывает в мире. Запахом, который говорит: здесь что-то растёт.

Она делала вещь не для хозяина. Не для красного угла. Не для того, чтобы кто-то пришёл и похвалил. Для себя. Просто чтобы не рассыпаться.

Глина щипала трещины на собственных пальцах, как щиплет зелёнка на разбитой коленке. Смола пахла гарью и летом одновременно — как если бы кто-то поджёг стог сена, а потом прыгнул в него с разбегу. Замазывала горшок, чувствуя, как податливая глина сопротивляется (она тоже устала, она тоже хотела рассыпаться), а затем — принимает. Смирется. Как только глина со смолой схватились на морозе, горшок стал глухим, крепким, надёжным.

Это не был волшебный артефакт. Никакого сияния. Никаких рун. Кривой, уродливый, тяжёлый горшок, которым даже воду не зачерпнуть — будет протекать сквозь трещину, сколько ни замазывай. Но Домне не нужна была вода.

Сгребла остатки Пепла со снега — те самые шипящие, обжигающие крупинки, которые ещё минуту назад прожигали лёд и отказывались собираться. Смешала их с собственной янтарной кровью-смолой и набила горшок до краёв, утрамбовывая Пепел пальцами, как утрамбовывают капусту в бочку. Заткнула горловину сухой мшистой пробкой, отковырянной от ствола берёзы (мох был жёстким, колючим и пах торфом, но другого не было). Завязала горшок на поясе грубым шнурком, который чудом сохранился в переднике — может, сама судьба его уберегла, а может, просто нитки попались крепкие.

Теперь её дом был при ней. Не дом — так, флигелёк. Не изба — времянка. Но хоть что-то. Хоть какая-то крыша над головой.

Руки перестали дрожать. Они были заняты делом. Под ногтями чернела глина, и запах сырой земли был вкуснее любого ладана, который она когда-либо нюхала в красном углу. Ищейка за спиной скулила и не могла пробиться. Глина была границей. Глина держала тепло и не пускала холод. Это была старая, как мир, магия — магия, которая не требует заклинаний, не требует посвящения и одобрения Старейшин. Она требует только одного: не лениться месить раствор.

Домна выпрямилась. Вернее, попыталась. Выпрямиться полностью не получилось — спина затекла так, будто на ней всю ночь спала корова, плечи свело, шея не поворачивалась. Стояла, сгорбившись, как старуха, и тяжело дышала. Пар вырывался изо рта рваными клочьями — как дым из печки, которую топят сырыми дровами.

— А ты, Ищейка, — сказала она, поправляя тяжёлый горшок на бедре и чувствуя, как он оттягивает поясницу, — если хочешь, иди рядом. Только не вой. От твоего воя голова раскалывается, а в черепе у меня и так только ветер гуляет. Если я сейчас рухну от мигрени, кому ты будешь нащёптывать? Сугробу? Сугроб, знаешь ли, не ответит. Он вообще неразговорчивый. Я уже пробовала.

Ищейка замолчала. Шла следом, прижавшись к земле, как побитая собака. Её запахи больше не били в нос — они стелились под ногами, пытаясь подсунуть, чтобы споткнуться. Подлый приём, старый, как мир. Домна знала его наизусть: если не можешь победить в честном бою — устрой мелкую пакость. Подставь ножку. Рассыпь соль. Нагадь в тапок. Ищейка была гениальна в таких вещах. Она могла бы написать целый трактат о мелких пакостях и защитить его перед Старейшинами — «О подлости подпороговой: искусство незаметного вредительства в условиях дефицита магии». Домна фыркнула, представив это зрелище. Фырчок вышел жалким, но это был фырчок.

Сумерки в лесу не опускались с неба, как это бывает в нормальных местах — там, где есть горизонт, и солнце, и закат, окрашивающий облака в розовый. Здесь сумерки проступали из-под корней, как сырость в плохо проветриваемом подполе. Сначала просто темнело под лапами елей. Потом темнота начала подниматься, как тесто в квашне, — медленно, неумолимо, заполняя всё пространство между стволами, заливая тропинки, поглощая очертания деревьев. Холод к вечеру сменил тактику. Если днём он колот — остро, точно, как заноза под ногтем, — то теперь стал ватным, удушливым, липким. Он лез в каждую щель. А щелей в Домне хватало.

Смола, державшая суставы, начинала дубеть на морозе. Каждый шаг отдавался в бёдрах глухим, костяным стуком, будто кто-то стучал кочергой по остывающему чугуну. Тук... тук... тук... «Это я, — думала Домна. — Это я стучу. Это мой ход. Если перестану стучать — вот тогда и приходите. Тогда и накрывайте меня снегом, как периной. А пока я стучу — я иду».

Ищейка замолчала окончательно. Это было страшнее воя. Страшнее шёпота. Когда Навь молчит, это значит, что она перестала тратить силы на лобовую атаку и пошла искать обходной путь. Как сквозняк, который не ломится в дверь, а находит микроскопическую щёлочку под подоконником и тихо, незаметно, капля за каплей, выстужает комнату. Сквозняк терпелив. Сквозняк никуда не спешит.

Запах ударил не с ветром. Ветра не было — был мёртвый, ватный штиль, какой бывает только в густом лесу перед снегопадом. Запах проступил из-под снега, словно кто-то под половицей открыл банку с вареньем, которое берегли для особого случая — для свадьбы, для рождения первенца, для встречи дорогого гостя.

Пахло не гарью. Гарью пахло вчера, у пепелища. Здесь пахло ржаной закваской — той, что Хозяйка ставила по четвергам в большой глиняной миске, укрывая её чистым полотенцем. Пахло влажным берёзовым веником, который только что вынули из запарника. Пахло тяжё-

лым, мускусным потом Игната — тем самым потом, который бывает у мужчины, проработавшего топором от рассвета до полудня, и который, если честно, пахнет не розами, а здоровым, крепким, живым зверем. Пахло топленным молоком с пенкой, сморщенной, как старушечья кожа на локте. Пахло сухим укропом, связанным в пучки под потолком — Хозяйка всегда вязала укроп на Петров день и вешала сушиться, чтобы зимой добавлять в щи.

Домна остановилась как вкопанная. Горшок на поясе дёрнулся, Пепел внутри глухо стукнул о глину. «Не смотри, — сказала она себе быстро-быстро, как читают отходную молитву. — Это труха. Это Ищейка тебя морочит, как молочник, который клянётся, что в его коровнике завёлся призрак, хотя пахло оттуда исключительно навозом и старой соломой. Призрак из навоза — это, конечно, интересная теологическая концепция, можно было бы обсудить её со Старейшинами на досуге, но ты в неё не верь. Ты умная. Ты твёрдая. У тебя горшок. Ты не какая-то там легковёрная деревенская домовушка, которая ведётся на первый попавшийся морок. Ты — Хранительница, пусть и битая».

— Домнушка, — раздался голос.

Он прозвучал не из-за спины, не из-под снега, не из ветвей. Прямо перед ней, из-за ствола старой, обросшей мхом ели — той самой ели, которую Домна только что видела краем глаза и которая была совершенно обыкновенной, — раздался голос. Тёплый, низкий, с хрипотцой. Голос, который она узнала бы из тысячи, из миллиона, из бесконечности. Голос, который когда-то сказал: «Живи, хозяйюшка».

Между деревьями, там, где минуту назад был только сугроб и чернота, стоял свет. Тёплый, маслянисто-жёлтый, живой. Такой свет бывает только от керосиновой лампы, прикрученной на половину фитиля — чтобы не коптила, но давала достаточно огня для вечерних посиделок. Свет падал на крыльцо. На резные наличники — те самые, которые Игнат вырезал три зимы подряд, ругаясь сквозь зубы, когда резец соскальзывал и портил узор («Да чтоб тебя, деревяшка!» — «Ничего, батюшка, подумаешь, завиток кривой вышел, зато с душой»). На порог, стёртый до блеска сотнями хозяйских ног — и тяжёлых, в сапогах, и лёгких, босых детских пяток.

А на пороге стоял Игнат. Не тот Игнат, что горел в печи — седой, согнутый, с руками, скрюченными подагрой. Тот, что был лет на сорок моложе. Тот, что вбил первый гвоздь в её косяк. Крепкий, в рубаше, расстёгнутой на груди — на груди блестели капельки пота, — с кочергой в руке. Кочерга была та самая, с кривым концом, которую он сам сковал у кузнеца и которой потом двадцать лет ворочал угли. Домна помнила каждую царапину на этой кочерге. Помнила, как однажды Игнат уронил её себе на ногу и прыгал по всей избе на одной ноге, ругаясь такими словами, которые Хранительнице слышать не полагалось. А она сидела в подпечье и хихикала, зажимая рот ладошкой, чтобы не выдать себя.

Он улыбался. Той самой улыбкой — широкой, открытой, чуть кривоватой (слева не хватало зуба, выбитого в драке на ярмарке), — от которой у Домны всегда, веками, подгорали блины на сковороде. Она отворачивалась на минутку — только глянуть, как он там, на заварочнике, — и тут же слышала шипение и запах горелого теста.

Разум — тот маленький, но горластый уголёк, — кричал ей. Очень громко. С надрывом, как кричат пожарные, когда видят, что крыша сейчас рухнет. «Ложь! — кричал разум. — Идиотка ты глиняная, открой глаза! Изба сгорела! Ты сама видела, как рухнули стропила! Ты сама выносила Пепел! Игнат мёртв, мёртв уже сорок лет, он умер в той самой постели, которую ты грела ему каждую ночь! Это Ищейка, дура, Ищейка, она нашла твою слабину и бьёт в неё!»

Разум вообще очень умная штука. Он умеет анализировать, сопоставлять факты, делать выводы. Проблема в том, что тело слушается его в самую последнюю очередь. Тело помнило другое. Оно помнило, как оно устало. Как замёрзло. Как у него болели все суставы разом — и локти, и колени. Как хотелось, чтобы кто-то большой, тёплый и надёжный сказал: «Заходи,

глупая, я всё починил, печку натопил, хватит уже по лесу шататься, ты ж не лесовик какой, ты домовая, твоё место у печки».

— Чего в сенях стынешь? — басисто, с хрипотцой, спросил Игнат, и от его голоса у Домны внутри что-то дёрнулось и зануло, как больной зуб, на который попал мёд. — Заходи. Я натопил. Кисель на столе стынет — клюквенный, как ты любишь. И половицы я тебе перестелил, те, что скрипели у красного угла. Два года собирался, а тут вдруг руки дошли. Теперь хоть пляши — ни одна не скрипнет.

Домна пошатнулась. Глина на коленях хрустнула — тонко, жалобно, как первый лёд на луже, когда на него наступает ребёнок.

— Я... я мусорила, — пролепетала она, и голос прозвучал чужим, маленьким, мышинным, как будто не она говорила, а та самая мышь, которая когда-то жила в подполье и которую она, Домна, честно пыталась выселить три зимы подряд, но так и не смогла, потому что у мыши были мышата, и мышата были маленькие, розовые, слепые, и Домне было их жалко. — Я Пепел вынесла. За порог. Ты теперь меня выгонишь. Ты имеешь право. Так написано в Кодексе. Так написано...

Игнат покачал головой медленно, с тем бесконечным терпением, которое бывает только у очень сильных мужчин, никогда никуда не спешащих и знающих, что время — это не враг, а просто ещё один инструмент в хозяйстве. От этого движения пахнуло табачком и дёгтем — запахом, который Домна узнала бы из тысячи. Запахом Дома.

— Кто ж тебя выгонит, хозяйюшка? — сказал он, и в голосе его не было ни гнева, ни укора, ни даже удивления. — Порог для того и существует, чтобы через него переступали. И те, кто выносят сор, и те, кто вносят дрова. Все нужны. Все важны. Иди уже. А то кисель остынет, а холодный кисель — это не кисель, а позор на всю округу.

Домна сделала шаг. Один. Второй. Горшок на поясе бил по бедру, тяжёлый, как приговор, но она не слышала его стука. Слышала только треск поленьев в печи — влажные, наверное, шипят и стреляют искрами — и гудение самовара. Видела красный угол, икону в вышитом рушнике, блюдечко с молоком, которое не скиснет. Видела ту самую трещину на притолоке, которую Игнат всегда обещал замазать, но так и не замазал, потому что «трещина — это характер, а дом без характера — не дом, а казарма».

Дошла до крыльца. Поднялась по ступеням — ноги помнили каждую выбоину, каждую щербатую доску, каждый гвоздь, который чуть-чуть выступал над деревом. Игнат протянул руку. Ладонь огромная, шершавая, тёплая — та самая ладонь, которая сорок лет назад вбила первый гвоздь в её косяк.

Домна упала на колени. Не от слабости. От любви. От той любви, которая сильнее Кодекса, сильнее Закона, сильнее самой Нави. Уткнулась лицом в порог — в стёртое, тёплое, живое дерево — и вдохнула запах жизни. И прошептала:

— Здравствуй, Дом. Я пришла.

И в этот самый миг порог превратился в лёд.

Не в тот волшебный, сверкающий лёд из легенд, которые поют гусяры на ярмарках — лёд, что переливается синими и зелёными искрами под луной, лёд, в котором отражаются звёзды. А в тот самый — скользкий, предательский, твёрдый, как камень, — который бывает на ступеньках, когда хозяин поленился посыпать их песком, а потом вышел утром за водой, поскользнулся, взмахнул руками, выронил ведро и обругал всё на свете, включая погоду, жену и собственную лень.

Тепло исчезло мгновенно — как будто захлопнулась печная заслонка. Как будто кто-то открыл дверь настежь в лютый мороз и держит её, не давая закрыть. Игнат раскрыл рот, и из горла вырвался не голос, не смех, не «кисель стынет» — а визг метели. Тонкий, сверлящий, бесчеловечный визг, от которого заложило уши. Лицо его потекло, как воск, и под чертами Игната проступило другое лицо — голодное, жадное, безглазое.

Руки сомкнулись на плечах Домны — но это были не руки хозяина. Это были ледяные клешни Ищейки, которые вцепились прямо сквозь глину, входя в трещины, как воры в открытые окна, как сквозняк в незакрытую форточку.

— Ты вынесла сор! — взвизгнула Ищейка голосом Внука, и это было страшнее всего. Голос Внука — холодный, брезгливый, с металлическими нотками, как банковский отчёт о ликвидации имущества. — Ты нарушила Закон! Тебя нельзя пускать! Стены не нуждаются в окнах! Стены держат! А ты — окно! Ты — щель! Ты — сквозняк, который выстужает дом изнутри!

Что-то внутри Домны хрустнуло.

Тонкий, звонкий, тошнотворный звук — как лопнувшая на морозе стеклянная банка с солёными огурцами, которую забыли убрать в погреб. Как треснувший кирпич в печной кладке, когда огонь разгорелся слишком жарко. Как сломавшаяся ручка у любимой чашки — той самой, с синим цветочком, из которой Хозяйка пила чай только по воскресеньям.

Боль не пришла сразу. Сначала пришла Пустота. Прямо по центру груди, от ключицы до самого чрева, глина разошлась — как расходится старая рана, которую плохо зашили и которая ждала своего часа, чтобы открыться снова. Образовалась Трещина — уже не на горшке, а в ней самой. Широкая, рваная, уродливая. И в эту Трещину хлынул сквозняк.

Не лесной холод, не зимняя стужа — к ним Домна уже почти привыкла. Тот самый, домашний, предательский сквозняк, который убивает дом изнутри. Тот сквозняк, которого Хранительницы боятся больше всего на свете — больше сырости, больше плесени, больше жучка-древоточца. Он свистел в рёбрах, выдувая последние крошки тепла, вымораживая смолу, превращая кровь в ледяную крошку.

«Вот так, — подумала Домна, падая на спину в снег, и мысль была удивительно спокойной, почти отстранённой, как будто она читала лекцию самой себе по устройству дома, — вот так и умирают старые дома. Не от пожара. Не от бури. От сквозняка. От того, что где-то плохо пригнали раму, а заметили слишком поздно. И вот уже свистит, и вот уже несёт холодом, и вот уже печка не справляется, и вот уже дом — не дом, а ледяной склеп».

Ищейка нависла над ней, принимая обличье чёрной, жирной сажи — той самой сажи, которая копится в дымоходе, если его не чистить три зимы подряд и если топить сырыми сосновыми дровами. Жирная, липкая, вонючая, она обволакивала Домну коконом, забивалась в рот, в нос, в глаза.

— Ложись, — шептала Навь, и голос её был почти ласковым. — Всё равно ты треснула. Ты больше не удержишь тепло. Ты — битый горшок. В таком доме не живут. В таком доме мёрзнут. Умри, Домнушка. Это так легко. Просто перестань дышать. Перестань скрипеть. Перестань помнить. Стань тишиной.

Домна лежала. Сквозняк в груди выл, как ветер в печной трубе, которую забыли закрыть на зиму. Чувствовала, как пальцы снова становятся прозрачными. Как глина на щеках опять начинает осыпаться. Ищейка была права. Горшок треснул. Кирпич расколот. Из такого Дома уходят. В таком Доме не живут. В таком Доме...

Но правая рука, лежавшая в снегу, снова нащупала что-то твёрдое.

Глиняный горшок. Тот самый, Игнатов, который она чинила час назад у корней вывороченной берёзы. Наспех, грязно, криво, замазав трещины речной глиной и собственной янтарной смолой. Он был тяжёлым, неуклюжим и пах сырой землёй. Он не был волшебным. Он был просто куском земли, который отказывался рассыпаться. Упрямым, глупым, твёрдым куском земли.

«Игнат, — подумала Домна, и мысль была вялой, как осенняя муха, но всё-таки живой, — говаривал: хороший горшок — он как хорошая жена. Должен быть твёрдым, тёплым и немного шершавым. А если треснул — замажь. Не выбрасывай. Выбрасывают только дураки. А мы, Игнаты, не дураки».

Не стала аккуратно отколупывать глиняную крышку, которую сама же и слепила. На аккуратность не было ни сил, ни времени. Ударила ладонью по крышке — резко, зло, как бьют комара, который сел на шею и уже вонзил хоботок. Глина хрустнула, впившись осколками в кожу. Кровь-смола выступила мгновенно — янтарная, густая, пахнущая лесом и летом, — смешиваясь с грязью и пеплом.

Внутри, в темноте, пульсировал Чёрный Пепел. Игнатов Пепел. Её собственная сгоревшая жизнь. Он был горячим. Он был живым. Он ждал. Он ждал, когда она о нём вспомнит.

— Ты... ты не мусор, — прохрипела Домна, и из горла вырвался клубок белого, злого пара — такого горячего, что снежинки вокруг растаяли. Обращалась не к Ищейке. Обращалась к Пеплу. К самой себе. К тому, что осталось от дома. — Ты не сор. Ты не труха. Ты... цемент. Ты — то, что держит кирпичи вместе.

Сунула руку в горшок глубже, обжигая ладонь до мяса, и достала полную горсть Пепла. Вторую руку опустила прямо в мокрый, ледяной снег, черпая грязную, талую жижу. Прямо на груди, поверх зияющей, свистящей, воющей Трещины, начала месить раствор. Как месят тесто для ржаного хлеба — сильно, грубо, не жалея рук. Как месят глину для печной заплатки — тщательно, чтобы не осталось ни одного пузырька воздуха. Как месят цемент для фундамента — с пониманием, что если схватится криво, весь дом перекосится.

Боль была такой, что Домна выгнулась дугой и завывала. Пепел жёг рану — это была хорошая, очищающая боль, как боль от зелёнки на разбитой коленке. Снег охлаждал ожог — это была отрезвляющая, бодрящая боль, как боль от ледяной воды, которой плеснули в лицо, чтобы привести в чувство. А Ищейка рвала её изнутри, пытаясь не дать замазать, — и эта боль была самой сильной, но и самой бессильной, потому что Домна уже приняла решение.

— Не смей! — визжала Навь, теряя обличье саж, становясь просто вихрем, просто звуком, просто бессильной, слепой злобой. — Это чужое! Это мёртвое! Ты замажешь себя грязью! Ты станешь уродкой! Ты станешь посмешищем! Старейшины проклянут тебя! Род отречётся!

«Старейшины, — мелькнула мысль. — Я же их никогда не видела. Может, их тоже нет? Может, их тоже я выдумала, как Кодекс?»

— Я... замажу... себя... собой! — рычала Домна сквозь стиснутые зубы. Стискивать зубы было трудно — челюсть всё ещё напоминала размокший сухарь. Но она стискивала.

Вдавила чёрную, липкую кашу прямо в Трещину. Пепел, смешанный со снегом и её собственной, выступившей из раны янтарной смолой, начал схватываться — медленно, неохотно, как схватывается цемент на морозе, когда вода в растворе превращается в лёд. Раствор получился комковатым — то слишком жидким, то слишком густым, и Домна тихо ругалась себе под нос, как ругался Игнат, когда строгал кривую доску. «Ну и дубина же я, а не печник», — прошептала она, и от этой знакомой ворчливой интонации на секунду стало легче. Не тёплый. Тяжёлый. Холодный. Но он держал. Забивал сквозняк. Перекрывал тягу.

Давила ладонями на грудь, втирая Пепельный цемент в глину, размазывая кровь по юбке, стуча зубами от озноба. Это было не волшебство. Волшебство — это когда красиво, когда сияние, когда древние руны загораются под пальцами. Это была черновая, грязная, неблагодарная работа по восстановлению несущей конструкции, которую приходится делать в три часа ночи, когда крыша уже течёт, а все нормальные люди спят. Работа, которую никто не воспоёт в балладах, не запишет в Кодекс и не расскажет внукам как пример героизма. Но без которой негде было бы петь баллады, потому что крыша рухнула бы на голову певцу.

Сквозняк стих. Не сразу. Сначала он попытался прорваться, свистнул напоследок — тонко, обиженно, как ребёнок, которому не дали конфету. Потом захлебнулся и смолк.

Воронка в груди не исчезла — осталась. Но теперь она была запечатана. Застывшая чёрная корка пульсировала в такт сердцу, шершавая, уродливая, неровная. Как старый шрам от ожога. Как латка на любимой рубашке, которую пришили суровыми нитками и кривым швом.

Как печная заплатка, которую наложил неумелый, но очень старательный печник — криво, косо, но печка работает и тепло держит.

Ищейка отшатнулась. От Домны повеяло не теплом — тепла у неё почти не осталось, всё выдуло сквозняком. От неё повеяло жаром. Тем самым сухим, обжигающим лицо жаром, который вырывается, когда открываешь выюшку, чтобы выпустить угар. Тем жаром, который не греет, а обжигает — но именно он спасает от смерти, потому что угарный газ тих и ласков, а жар — груб и честен.

Навь не любила этот жар. Она шипела, таяла, скукоживалась, превращалась в обычный, безобидный дымок, который тут же унёс лесной ветер. Ищейка не исчезла — она просто отступила. Затаилась где-то в корнях, в сугробах, в тёмных провалах между стволами. Как затаивается сквозняк, ожидая, когда ты снова забудешь закрыть окно. Она умела ждать. Она была терпеливой.

Домна лежала в снегу ещё долго. Минуту. Час. Может быть, целую зиму — время для неё сейчас имело консистенцию холодного киселя: тянулось, дрожало, не желало течь ровно, застревало в горле.

Смотрела в серое, свинцовое небо — такое же серое, как её собственная глина, как Пепел в горшке, как всё вокруг. Чувствовала, как застывает Шрам на груди. Он стягивал кожу, тянул плечи вниз, делал её ещё более сгорбленной, чем раньше. Тяжёлый. Некрасивый. Неровный. Если бы она была героиней баллады, Шрам был бы изящным, серебряным и сиял в лунном свете, как обещание будущих побед. У Домны Шрам был чёрным, бугристым и походил на коровий кизяк, прилепленный к забору — неотличимый от грязи, в которой она лежала.

«Ну и пусть, — подумала она, и от этой мысли стало неожиданно легко. — Зато не дуёт».

Медленно, с хрустом, с натугой, с тихим ругательством себе под нос, села. Подтянула колени к груди — колени отозвались глухой болью, но слушались. Посмотрела на свои руки. Руки были чёрные от Пепла, в крови, в грязи, в осколках расколотой крышки. Ногти обломаны под корень, и под каждым ногтем — траурная кайма. На костяшках запеклась смола — бурая, шершавая, как старая глазурь на горшке. С ладоней свисали лохмотья обожжённой глины.

Поднесла руки к лицу, повертела их, рассматривая с тем же выражением, с каким хозяйка рассматривает старую кастрюлю, раздумывая, выбрасывать или ещё послужит.

— Ну и видок, — сказала она вслух. — Если бы меня сейчас увидела Марфа-соседка, она бы упала в обморок. А потом немедленно встала и побежала рассказывать всем, что Домна совсем опустилась, ходит чумакая, как трубочист, и воняет гарью. «И маникюр, — сказала бы она, — сделай себе, срамница. Хранительница ты или кто?»

Усмехнулась. Усмешка вышла кривой, однобокой — на правой щеке глина треснула и не дала улыбнуться как следует. Но в этой кривизне не было больше той сухой, трескучей боли, что раньше. В ней было узнавание. Как если бы она посмотрела в мутное, закопчённое зеркало — такое, что висит в тёмных сенях и отражает только силуэты, — и внезапно узнала в отражении себя. Не ту Хранительницу, что стояла у печи и подметала пол, поправляла рушник в красном углу и сдувала пылинки с блюдечка. А вот эту — грязную, битую, заляпанную пеплом, с кривым Шрамом на груди и мхом в локте.

— Ну вот, — прошептала она в пустоту, поглаживая шершавый, чёрный рубец кончиками израненных пальцев. — Теперь я не просто печка. Теперь я — битая печка. А битую печку, Игнат говаривал, только добрый хозяин и починит. А хозяина у меня теперь нет.

Замолчала. Прислушалась к тишине. Тишина была глубокой, ватной, как снег на еловых лапах, как одеяло, которым накрывают спящего ребёнка. И в этой тишине Домна добавила — тихо, но твёрдо, как забивают последний гвоздь в косяк:

— Значит, я сама себя замажу. Криво. Косо. На соплях и на смоле. Но замажу. Потому что выбрасывают только дураки. А мы, Игнаты... то есть мы, Домны... в общем, мы не дураки.

Встала. Медленно, с кряхтением. Разбитый горшок на поясе стукнул по бедру — тук. Тяжёлый. Настоящий. Живой. Поправила шнурок, проверила, не просыпался ли Пепел, — не просыпался, держался. Шагнула дальше, в темноту тайги.

Лес молчал. Но корни под снегом — те самые старые, узловатые корни, что цепляются за мёрзлую землю и не дают деревьям упасть, — чувствуя, как по ним идёт существо, которое весит больше, чем его собственная боль, шевельнулись. Чуть-чуть. На волосок. На толщину паутинки. Но этого хватило, чтобы уступить ей дорогу.

Лес не утешал. Лес проверял на плотность. И Домна прошла проверку. Она была тяжёлой. А значит, имела право идти.

ГЛАВА 3. НОРА, В КОТОРОЙ НЕ МЕТУТ

Кодекс Хранительницы Очага — тот самый, который Домна выдумала от первого до последнего параграфа и в который искренне верила, потому что верить в выдуманный Кодекс было легче, чем признать, что никакого Кодекса нет, — ничего не говорил о зверях. Там была глава «О домашней скотине и её месте в мироздании» (коровы, козы, курицы — все должны знать своё стойло и не гадить в сени), была глава «О мышах и способах их вежливого выселения» (мыши — не враги, мыши — соседи, с которыми не продлили договор аренды), но про лесных зверей не было ни строчки. Лесные звери не входили в юрисдикцию Хранительницы. Лесные звери были чужими.

Домна шла, и лес вокруг неё менялся. Не сразу — постепенно, как меняется лицо человека, который долго болел, а потом вдруг пошёл на поправку: вроде тот же нос, те же глаза, но что-то в них проступило другое. Сосны сдвигались плечами, смыкая над головой чёрный, непроглядный свод, похожий на потолок в заброшенной избе, где хозяин поленился заменить подгнившие матицы. Снег под ногами перестал быть ватным, перестал чавкать — он начал звенеть, ломаясь сухой, ледяной коркой. Как старая корка хлеба, которую пытаешься разгрызть, а зубы уже не те, и ты сидишь, сжимаешь её в пальцах и думаешь: «Вот так и я. Снаружи твёрдая, а внутри — крошки».

Воздух здесь пах иначе. Не гарью. Не ржаной закваской. Он пах вековой смолой — тяжёлой, тёмной, янтарной, — которая сочилась из трещин в сосновой коре и застывала на морозе прозрачными, стеклянными слезами. Пах остывающим мхом — тем самым мхом, что копился под корнями столетиями, спрессовываясь в плотный, упругий матрас, на котором никогда не спали. И пах чужой, звериной жизнью — мускусной, тёплой, с кисловатым оттенком мочи и сладковатым — сушёных ягод. Этот запах говорил яснее любых слов: «Мы здесь живём. Мы здесь спим, едим, плодимся и умираем. И нам на вас решительно всё равно. Вы — просто движущийся предмет, который либо съедобен, либо нет».

Домна шла, и каждый шаг отдавался в коленях тупой ломотой — не острой, не кричащей, а именно тупой, ноющей, как боль в зубе, который лечили, да не долечили. Глиняная кожа на щеках натянулась и пошла мелкой сетью трещин — не тех глубоких, опасных трещин, что грозят рассыпаться, а тонких, поверхностных, похожих на кракелюр на старой вазе. Мороз в лесу — это не погода. Это состояние души, перешедшее в стадию обморожения. Он искал в ней щели, как опытная ключница ищет, куда бы засунуть мокрую тряпку, чтобы та не валялась на виду. И внутренняя пустота — та самая, что осталась на месте печи, — начинала стынуть, превращаясь в ледяную воронку.

Шрам на груди молчал. Вернее, не молчал — он пел. Тихо, на одной ноте, как поёт самовар, когда вода уже почти закипела, но ещё не бурлит. Он не болел — он присутствовал. Каждые несколько шагов Домна касалась его кончиками пальцев — не специально, не в ритуале, а просто так, как трогают языком щербинку на зубе, чтобы убедиться: она всё ещё там. Шрам был там. Шершавый, чёрный, неровный. Её удостоверение личности. Её доказательство того, что она — не сквозняк.

Ищейка сменила тактику.

Надо отдать Ищейке должное — она была тонким психологом. Не то чтобы она училась этому у Старейшин или читала трактаты по думоведению (Навь вообще не читает, Навь впитывает знания, как губка впитывает грязную воду). Она просто знала: если хочешь, чтобы существо сдалось, не пугай его волками и не шипи из-под пола. Страх мобилизует. Страх заставляет бороться. Предложи ему тапочки. Предложи ему одеяло. Предложи ему покой — и он сам отдаст тебе всё, что ты хочешь.

Больше не скулила. Не шуршала сухими лапами. Не шептала голосами соседки и Внука. Стала мягкой, тёплой — как пуховая шаль, которую набрасывают на плечи замёрзшему путнику в тот самый момент, когда он уже перестал надеяться на тепло. Обвила Домну невидимыми, бархатными лапами — не сжимая, не царапая, а просто лежа на плечах тяжёлым, убаюкивающим грузом. И от этого объятия — странного, чужого — стало теплее. Как будто кто-то набросил одеяло из тёплого тумана, и туман гладил плечи, шептал в ухо, обещал, что боль уйдёт.

И зашептала прямо в ухо голосом усталой матери. Не Хозяйки — та говорила резко, отрывисто, приказывала. Этот голос был другим. От него пахло не прогорклым молоком и не пылью из-под кровати. От него пахло свежим укропом, связанным в пучки под потолком, остывающим киселём на краю печной лежанки и правом наконец-то закрыть глаза.

— Тяжело тебе, Домнушка, — шептала шаль, и каждый звук был круглым, гладким, как речная галька. — Глинка-то стынет, трещит по швам. Ножки в кровь стёрла — я вижу, я всё вижу, я за тобой с самого пепелища иду. Отдай мне горшочек. Отдай мне Пепел. Я его в мягкий мох спрячу, в самое тёплое место, где корни переплетаются и земля дышит. Ему тепло будет, уютно. И тебе легче станет — сразу легче, Домнушка, вот увидишь. Ты же не каменная, ты же глиняная. Тебе бы к печке, тебе бы полежать, тебе бы ноги вытянуть. Я понесу. Я сохраню. Я справлюсь. А ты — отдохни. Закрой глазки, ляг в сугроб, а я тебя укурю своим шорохом. И боль пройдёт. И холод пройдёт. И всё пройдёт...

Слова лились, как сладкий кисель — клюквенный, с крахмалом, который кладут в конце варки, чтобы не перегустить. Они обволакивали разум, и воля гасла — тихо, незаметно, одна искра за другой. Домна чувствовала, как замедляются мысли. Как тяжелеют веки. Как хочется просто... остановиться.

И тут вступила в действие та самая думоведческая премудрость, которой славятся все, кто слишком долго был никому не нужным. Пальцы Домны, которые до этого судорожно цеплялись за горшок — глиняный, тёплый, запечатанный смолой, — вдруг решили, что они больше не участвуют в этом профсоюзе. Они устали бастовать в одиночку. Они хотели отдохнуть — просто разжаться и полежать на снегу, как лежат осенние листья, которым уже всё равно. Плечи сами собой поползли вниз, готовясь принять чужую ношу, сбросить свою. Как же хотелось отдать. Как же хотелось, чтобы кто-то другой — кто угодно, хоть Ищейка, хоть лес, хоть снег, — взял этот тяжёлый, обжигающий груз, потому что быть сильной — это такая утомительная, такая неблагоприятная работа.

Домна споткнулась о корень — старый, узловатый, торчащий из-под снега, как костяшка пальца из разрытой могилы, — и упала на колени.

Горшок на поясе качнулся. Пепел внутри глухо стукнул о глиняную стенку. Тух.

Звук был настолько обыденным, настолько земным, лишённым всякой магии, что сладкий туман в голове на секунду рассеялся, как рассеивается утренняя дымка над рекой, когда солнце наконец поднимается выше. Гравитация — это единственная сила во вселенной, с которой не могут спорить ни боги, ни духи, ни чужая жалость. Гравитации плевать на твои экзистенциальные кризисы. Гравитация просто притягивает горшок к земле, и если ты не удержишь его — он упадёт.

Домна судорожно перехватила горловину пальцами — обломанными, чёрными от грязи, с запёкшейся под ногтями смолой.

— Сама, — прохрипела она в снег, и голос был чужим, низким, скрежещущим. — Сама разберусь. Без тебя. Без всех.

Ищейка вздрогнула. Шаль на мгновение стала жёсткой, колючей, как ржавая проволока, которую забыли в сених и на которую наступаешь босой ногой. Но уже через секунду снова обмякла, обняла плечи.

— Упрямая, — вздохнула она, но теперь голос был другим. Скрипучим, как старая половая доска, на которую уронили чугуны и которая с тех пор поёт на два тона ниже. — Ну и коченей в сугробе. Я подожду. У меня времени много. У мёртвых его вообще вагон и маленькая тележка. А у тебя — посмотрим.

Домна поднялась, опираясь на сухую ветку, которую подобрала час назад. Ветка была кривая, неудобная, с обломанными сучками, которые цеплялись за юбку, но другой клюки в лесу не нашлось. И тут — когда она уже выпрямилась, когда колени перестали дрожать и спина с хрустом встала на место, — ноздри ударил новый запах.

Не мёртвой коры. Не пепла. Не гнилой листвы, которая копилась под снегом с прошлой осени.

Живого жира.

Так пахнет только то, что живёт. Прелый папоротник, сухая трава, утоптанная сотнями лап, и тёплая, густая, мускусная звериная шерсть, которая хранит тепло даже в самый лютый мороз. Запах дома — не человеческого, не избяного, а земляного, норного, утробного.

Впереди, под выворотнем старой ели — корни у неё были вывернуты наружу, как спутанные нитки, которые забыли смотать, — чернел вход в нору. Он был аккуратный, круглый, почти как дверной проём, только низкий — пришлось бы сгибаться в три погибели. Вокруг него земля была утоптана до каменной твёрдости, лежали кучки свежей, влажной земли — явно выброшенной недавно, — и обгрызенные шишки, с которых кто-то старательно содрал чешую.

Домна замерла. Жилище. Уютное, тёплое, защищённое от ветра и снега. Из глубины норы тянуло ровным, печным теплом спящего зверя — не жаром, не огнём, а именно теплом, тем самым, что бывает от хорошо протопленной печи на следующее утро, когда угли уже прогорели, но глина ещё держит.

«Странно, — подумала Домна, и мысль была удивительно ясной, словно холодный воздух выдул из головы остатки Ищейкиного киселя. — Нора — это не просто дыра в земле. Нора — это договор. Одна сторона говорит: „Я хочу здесь жить“. Вторая сторона — земля, гравитация, корни — говорит: „Хорошо. Я буду держать твой потолок, пока ты будешь здесь жить“. Это почти как Дом. Только без печки. И без красного угла. И без блюдечка с молоком. Но договор тот же».

Из темноты высунулась морда. Не сразу — сначала показался нос. Мокрый, блестящий, чёрный, он шевелился, втягивая воздух, как крошечные мехи. Потом показались глаза — маленькие, блестящие, хитрые, посаженные близко друг к другу, как у всех, кто живёт под землёй и не привык смотреть вдаль. Потом — полосатая голова с широкими усами, которые топорщились в разные стороны, как веник, которым мели пол, да так и бросили.

Барсук.

Он долго смотрел на Домну, шевеля усами. Взгляд у него был оценивающий, по-хозяйски придирчивый — так смотрит старая ключница на новую горничную, прикидывая, сколько та разобьёт тарелок в первый месяц. Барсук был существом практичным. В его мире не было места для экзистенциальных кризисов, поисков предназначения и прочей ерунды, от которой у практичных существ начинает болеть голова. В его мире было место для корней, которые нужно рыть, потому что корни прут в спальню. Для клещей, которых нужно есть, потому что клещи кусают. Для подстилки, которую нужно менять, потому что старая отсырела.

— Ты чего, кочан глиняный, по моим кочкам шатаешься? — Голос у Барсука был утробный, низкий, с присвистом — как будто кто-то дул в пустую бутылку. Но без злобы. Просто констатация факта. — Глина сыпется, зола в снег уходит. Непорядок. Ты мне всю тропу раскрошила. Я тут, понимаешь, утрамбовывал, утрамбовывал, а ты идёшь и крошишь.

Домна молчала. Смотрела на тёмный зев норы — и чувствовала, как внутри, в той самой воронке, где когда-то была печь, просыпается старая, вьёвшаяся в саму глину тоска. Жилище.

Тепло. Порядок. Пол, который можно подмести. Углы, из которых можно вымести паутину. Мыши, с которыми можно не продлить договор аренды.

Барсук вздохнул — тяжело, со свистом, как вздыхает старый дед, который устал объяснять внукам, зачем нужно заготавливать дрова на зиму. Вылез из норы наполовину, отряхнулся, посыпав снег комочками земли. От его шкуры потянуло запахом прелой листвы, сушёных грибов и чем-то сладковатым, мучным — похожим на запах хлеба, который только-только вытащили из печи и ещё не успели остудить.

— У меня в передней камере завал, — сказал он таким тоном, каким говорят о погоде: не жалуясь, а просто ставя в известность. — Корни прут. Мышь нагадила — третий раз уже нагадила, я ей говорю: «Уходи», а она: «У меня дети». Вечно у них дети. Подстилка отсырела — снег тает, вода в нору идёт. Подметёшь, мхом заткнёшь, клещей из шерсти выберешь — пушу к огню греться. А то ты к утру в сугробе окоченеешь, только хрустеть будешь. Я слышал, как хрустят замёрзшие. Неприятный звук.

«Интересно, — подумала Домна, — а клещей он тоже в смету включил? Или клещи — это отдельная ставка?»

Он облизнулся, помолчал, шевеля усами, и добавил тоном, который, видимо, казался ему великодушным:

— Работница мне нужна. Платой — тепло и объедки. Корешки там, личинки. У меня личинки хорошие, жирные, с прошлого лета запас. Идёт?

Домна смотрела на свои руки. Пальцы дрожали. Мелкой, противной дрожью — не от холода, от памяти.

Тело помнило. Тело помнило этот ритм, как старые часы помнят завод, даже если гири давно остановились. Убери. Подмети. Вымой. Проверь тягу. Поправь рушник в красном углу. Заслужи право дышать в этом доме.

Спина сама собой начала сгибаться. Позвоночник — вернее, то, что было у Домны вместо позвоночника, глиняный столб, пронизанный янтарными жилами смолы, — согнулся вперёд, как сгибается ветка под тяжестью мокрого снега. Плечи опустились, готовясь к работе. Руки потянулись вниз, к земле, ища невидимый веник. Это был рефлекс. Страшный, въевшийся в глину рефлекс — глубже, чем память, глубже, чем мысль. Тело знало: чтобы тебя пустили к огню, нужно сначала вымести сор. Чтобы тебя не выгнали, нужно быть полезной. Чтобы тебя любили, нужно работать. Быстро. Чисто. Без отдыха. Без жалоб.

«Ну вот, — подумала Домна, и мысль была горькой, как полынный отвар, которым Хозяйка поила Игната, когда у него болел живот. — Опять. Опять я хватаюсь за веник, как утопленник за соломинку. Опять я думаю: если я подмету, меня пустят. Если я подмету, я буду нужна. Если я буду нужна, я буду жить».

Сделала шаг к норе.

Но в этот момент горшок на поясе дёрнулся. Сильно, резко — как будто внутри что-то проснулось и ударилось о стенку. Пепел не обжёг бедро. Он пульсировал — тяжёлый, маслянистый, горячий. Он напоминал о себе. О сгоревших матицах, которые когда-то держали крышу. О красном угле, в котором стояло блюдечко с молоком. О том, что этот Пепел — не плата за чужой угол. Не разменная монета в сделке с Барсуком. Это её дом. Её память. Её скелет.

А скелеты не подметают.

Скелеты вообще ничего не делают. Они просто лежат в земле и держат форму. И этого хватает.

Если она сейчас войдёт в эту нору, возьмёт веник, выметет мышиный помёт, выберет клещей из барсучьей шерсти — она снова станет Домовой. Не Хранительницей, не Путником, не той, кто замазала Трещину собственной кровью. А просто Домовой — тенью в подполье, которая боится хозяйского шага. Работницей. А работнице нельзя нести Чёрный Пепел. Работнице нельзя иметь свой вес, потому что вес мешает пролезать в мышинные норы чужих жи-

даний. Вес заставляет половицы скрипеть, а хорошая работница должна быть лёгкой, бесшумной, невесомой.

Домна остановилась. Спина — медленно, с хрустом, с противным скрежетом глины о глину — начала выпрямляться. Плечи пошли назад. Подбородок поднялся. Трещина на груди, под Шрамом, не разошлась — она просто напомнила о себе глухой, ноющей болью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.